

СВИДАНИЕ

О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой.

*Генри Кинг, епископ Чичестерский.
Эпитафия на смерть жен*

Злосчастный и загадочный человек! — смятенный ослепительным блеском своего воображения и падший в пламени своей юности! Вновь в мечтах моих я вижу тебя! Вновь твой облик возникает передо мною! не таким — ах! — каков ты ныне, в долине хлада и тени, но таким, каким ты *должен был быть* — расточая жизнь на роскошные размышления в граде неясных видений, в твоей Венеции — в возлюбленном звездами морском Элизиуме, где огромные окна всех палаццо, построенных Палладио, взирают с глубоким и горьким знанием на тайны тихих вод. Да! повторяю — каким ты *должен был быть*. О, наверное, кроме этого, есть иные миры — мысли иные, нежели мысли неисчислимого человечества, суждения иные, нежели суждения софиста. Кто же тогда призовет тебя к ответу за содеянное тобою? Кто упрекнет тебя за часы ясновидения или осудит как трату жизни те из твоих занятий, что были только переплеском твоих неиссякаемых сил?

В Венеции, под крытою аркою, называемою там Ponte di Sospiri¹, встретил я в третий или четвертый

¹ Мост Вздохов (*ит.*).

раз того, о котором повествую. С чувством смущения воскрешаю я в памяти обстоятельства той встречи. И все же я помню — ах! забыть ли мне? — глубокую полночь, мост Вздохов, прекрасную женщину и Гений Возвышенного, реявший над узким каналом.

Стоял необычно темный для Италии вечер. Громадные часы на Пьяцце пробили пять. Площадь Кампанилла была безлюдна и тиха, и огни в старом Дворце дожей быстро гасли. Я возвращался домой с Пьяццетты по Большому каналу. Когда же моя гондола проходила напротив устья канала Святого Марка, откуда-то со стороны его раздался женский голос, внезапно пронзивший тьму диким, истерическим, протяжным вскриком. Встревоженный этим звуком, я вскочил на ноги; а гондольер, выпустив единственное весло, безвозвратно потерял его в черной тьме, и вследствие этого мы были предоставлены на волю течения, в этом месте идущего из большего в меньший канал. Подобно некоему гигантскому чернoperому кондору, мы медленно подплывали к мосту Вздохов, когда сотни факелов, сверкающих в окнах и на лестнице Дворца дожей, мгновенно превратили глубокий мрак в сверхъестественный сине-багровый день.

Младенец, выскользнув из рук матери, выпал сквозь верхнее окно высокого здания в глубокий, глухой канал. Тихие воды бесстрастно сомкнулись над жертвой; и хотя моя гондола была единственной в поле зрения, многие упорные пловцы уже находились в воде и тщетно искали на ее поверхности сокровище, которое, увы, можно было обрести лишь в ее глубине. На широких черных мраморных пли-

так у дворцового входа стояла фигура, которую вряд ли кто-то из видевших ее тогда мог бы с тех пор забыть. То была маркиза Афродита — обожаемая всей Венецией — веселейшая из веселых — прекраснейшая из красивых — и, к сожалению, юная жена старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, ее первого и единственного, который сейчас, в глубине беспросветных вод, скорбно вспоминал ее нежные ласки и тратил свои хрупкие силы в попытках возвратить к ее имени.

Она стояла одна. Ее маленькие босые серебристые ноги мерцали в черном зеркале мраморных плит. Ее волосы, только что полураспущеные после бала, в потоках алмазов клубились вокруг ее античной головки кудрями, подобными завиткам гиацинта. Прозрачное белоснежное покрывало казалось едва ли не единственным одеянием ее хрупкого тела; но полночный летний воздух был дущен, горяч, беспрепятен, и ни единое движение этой, подобной изваянию, фигуры не всколыхнуло даже складки покрывала, как бы сотканного из легчайшей дымки, которое обволакивало ее, как массивный мрамор — Ниобею. И все же — странно сказать — ее большие, блестящие глаза были устремлены не вниз, не к той могиле, где было погребено ее светлое упование, — но пристально взирали со всем в другом направлении! Тюрьма старой республики, по-моему, самое величественное здание во всей Венеции — но как могла эта дама столь пристально взирать на него, когда у ее ног захлебывалось ее родное дитя? И темная, мрачная ниша, зияющая прямо напротив ее покоев, — что же могло быть в ее тенях — в ее очертаниях — в ее угрюмых,

увитых плющом карнизах, чего бы маркиза ди Ментони не видывала тысячу раз до того? Вздор — кто не знает, что в такие мгновения глаз, подобно разбитому зеркалу, умножает образы своего горя и видит близкую беду в бесчисленных отдаленных местах?

На много ступеней выше маркизы, под аркою шлюза стоял, разряженный, и сам Ментони, похожий на сатира. Время от времени он бренчал на гитаре, как бы томимый смертельной скучой, а в перерывах давал указания о спасении своего ребенка. Потрясенный до отупения, я оцепенел с тех пор, как только услышал крик, и, должно быть, предстал перед столпившимися взволнованными людьми зловещим, призрачным видением, когда, бледный, стоя неподвижно, проплыл мимо них в погребальной гондоле.

Все попытки оказались тщетными. Многие из самых настойчивых в поисках умеряли свои усилия и сдавались унылому горю. Казалось, для младенца было мало надежды (а менее того для матери!), но сейчас из упомянутой темной ниши в стене старой республиканской тюрьмы, расположенной напротив окон маркизы, в полосу света вступила фигура, закутанная в плащ, и, остановясь на мгновение перед головокружительной крутизной, бросилась в воды канала. Еще через мгновение, когда этот человек встал, держа еще живого и дышащего младенца, рядом с маркизой, намокший плащ раскрылся, падая складками у его ног, и перед изумленными зрителями предстала стройная фигура некоего совсем молодого человека, имя которого тогда гремело почти по всей Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Сейчас она возьмет свое дитя — прижмет к сердцу — вцепится в маленькое тельце, осыплет его ласками. Увы! *другие* руки взяли дитя у незнакомца — *другие* руки взяли дитя и незаметно унесли во дворец! А маркиза! Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы собираются в ее глазах — глазах, что, подобно аканту у Плинния, «нежны и почти влажны». Да! слезы собираются в этих глазах — и смотрите! дрожь пошла по всему ее телу, и статуя стала живой! Бледный мраморный лик и даже мраморные ноги, мы видим, внезапно заливает неукротимая волна румянца; ее хрупкое тело пронизывает легкий озноб, легкий, как дуновение среди пышных серебристых лилий в Неаполе.

Почему она покраснела? На этот вопрос нет ответа — быть может, потому, что пораженная ужасом мать второпях покинула укромный будуар, забыв обуть крошечные ноги и накинуть на свои тициановские плечи подобающий наряд. Какая сыщется иная возможная причина для подобного румянца? — для безумного взгляда умоляющих очей? — для необычайного колыхания трепетных персей? — для конвульсивного сжимания дрожащей руки? — той руки, что нечаянно, когда Ментони направился во дворец, опустилась на руку незнакомца. Какая сыщется причина для тихого — весьма тихого голоса, которым маркиза, прощаясь с незнакомцем, произнесла бессмысленные слова? «Ты победил, — сказала она (или я был обманут плеском воды), — ты победил — через час после восхода солнца мы встретимся — да будет так!»

Шум толпы умолк, огни во дворце погасли, и незнакомец, которого я теперь узнал, один стоял на каменных плитах. Он содрогался от непостижимого волнения и взглядом искал гондолу. Я не мог не предложить ему свою, и он принял мою услугу. Добыв на шлюзе весло, мы направились к его жилищу, а он тем временем быстро овладел собою и завел речь о нашем прежнем отдаленном знакомстве с большою и очевидною сердечностью.

Есть предметы, говоря о которых мне приятно вдаваться в мельчайшие подробности. Личность этого незнакомца — буду аттестовать его так, ибо тогда он еще являлся незнакомцем для всего мира, — личность этого незнакомца один из таких предметов. Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной страсти его тело буквально *вырастало* и опровергало это утверждение. Легкая, почти хрупкая грация его фигуры заставляла ожидать от него скорее той деятельной решимости, высказанной им у Моста Вздохов, нежели геркулесовой моли, которую, как было известно, он обнаруживал в случае большей опасности. Уста и подбородок божества, неповторимые, дикие, блестящие глаза, порою прозрачные, светло-карие, а порою сверкающие густою чернотой; изобилие черных кудрей, сквозь которые, светясь, проглядывало чело необычайной ширины, цветом сходное со слоновой костью, — таковы были его черты, и я не видел других, столь же классически правильных, кроме, быть может, у мраморного императора Коммода. И все же его облик был таков, что подобных ему впоследствии никто не видывал. Он не обладал единственным, постоянно ему присущим

выражением, которое могло бы запечатлеться в памяти; облик его, единожды увиденный, мгновенно забывался, но забывался, оставляя неясное и не-престанное желание вновь вспомнить его. Не то чтобы никакая буйная страсть не отбрасывала четкое отражение на зеркало этого лица — но это зеркало, как зеркалам и свойственно, не оставляло на себе следа страсти, как только та проходила.

Прощаясь со мною в ночь нашего приключения, он просил меня, как мне показалось, весьма настойчиво, посетить его очень рано следующим утром. Вскоре после восхода солнца я, по его просьбе, прибыл к нему в палаццо, одно из тех гигантских сооружений, исполненных мрачной, но фантастической пышности, что высится над водами Большого канала невдалеке от Риальто. Меня провели по широкой, извилистой лестнице, выложенной мозаикой, в покой, чья непревзойденная пышность прямо-таки вырывалась сиянием сквозь открывающуюся дверь, роскошью ослепляя меня и кружа мне голову.

Я знал, что мой знакомец богат. Молва говорила о его состоянии так, что я даже осмеливался называть ее нелепым преувеличением. Но, оглядываясь, я не мог заставить себя поверить, будто есть в Европе хоть один подданный, способный создать царственное великолепие, что горело и пыпало кругом.

Хотя, как я сказал, солнце взошло, но светильники все еще пылали. Судя по этому, а также по усталому виду моего знакомого, он всю прошлую ночь не отходил ко сну. В архитектуре и украшениях покоя проступала явная цель ослепить и ошеломить.

В небрежении оставались *decora*¹ того, что специалисты называют соответственностью частей или выдержанностью стиля. Взгляд переходил с предмета на предмет, ни на чем не останавливался: ни на гротесках греческих живописцев, ни на статуях итальянской работы лучших дней, ни на огромных, грубых египетских изваяниях. Богатые драпировки в каждой части покоя колыхались под трепетные звуки грустной, заунывной музыки, доносящейся неведомо откуда. Чувства притуплялись от смешанных, перебивающих друг друга благовоний, клубящихся на причудливых витых курильницах вкупе с бесчисленными вспышками и мигающими языками изумрудного и фиолетового огня. Лучи только что взошедшего солнца озаряли все, вливаясь сквозь окна, в каждое из которых было вставлено по большому стеклу пунцового оттенка. Тысячекратно отражаясь там и сям от занавесей, что спадали с карнизов подобно потокам расплавленного серебра, лучи царя природы смешивались с искусственным освещением и ложились, как бы растекаясь по ковру из драгоценной золотой чилийской парчи.

— Ха! ха! ха! ха! ха! — засмеялся хозяин дома, жестом приглашая меня сесть, как только я вошел, и сам бросаясь на оттоманку и вытягиваясь во весь рост. — Я вижу, — сказал он, заметив, что я не сразу мог примириться с допустимостью столь необычного приветствия, — я вижу, что вы ошеломлены моими апартаментами — моими статуями — моими картинами — оригинальностью моих понятий по части архитектуры и обмеблировки! Опья-

¹ Укращения (*лат.*).

нели от моего великолепия, а? Но прошу извинить меня, милостивый государь (здесь тон его переменился и стал воплощением самой сердечности); прошу извинить меня за мой непристойный смех. У вас был такой *ошеломленный* вид. Кроме того, есть вещи *настолько* забавные, что человек *должен* или засмеяться, или умереть. Умереть смеясь, — вот, наверное, самая великолепная изо всех великолепных смертей! Сэр Томас Мор — превосходнейший был человек сэр Томас Мор, — сэр Томас Мор умер смеясь, как вы помните. А в «*Абсурдностях*» Равизия Текстора приводится длинный перечень лиц, умерших тою же славною смертью. Знаете ли вы, однако, — продолжал он задумчиво, — что в Спарте (которая теперь называется Палеохорами), что в Спарте к западу от цитадели, среди хаоса едва видимых руин, находится нечто наподобие *цоколя*, на котором поныне различимы буквы **ΛΑΣΜ**. Несомненно, это часть слова **ΓΕΛΑΣΜΑ**¹. Так вот, в Спарте стояла тысяча храмов и алтарей, посвященных тысяче разных божеств. И странно до чрезвычайности, что алтарь Смеха пережил все остальные! Но в настоящем случае, — тут его голос и манера странным образом переменились, — я не имею права веселиться за ваш счет. У вас были основания изумляться. Вся Европа не в силах создать ничего прекраснее моей царской комнатки. Другие мои апартаменты ни в коей мере не похожи на этот — они просто-напросто *ultra*² модной безвкусицы. А это будет получше моды, не правда ли? И все же стоит показать

¹ Смех (*греч.*).

² Верх (*лат.*).

эту комнату, и она послужит началом последнего крика моды — разумеется, для тех, кто может себе это позволить ценою всего своего родового имения. Однако я уберегся от подобной профанации. За одним исключением, вы единственный человек, не считая меня и моего камердинера, который был посвящен в тайны этого царского чертога с тех пор, как он обрел свой нынешний вид!

Я поклонился с признательностью — ибо подавляющая пышность, благовония и музыка, в соединении с неожиданною эксцентричностью его обращения и манер, помешали мне выразить словесно мою оценку того, что я мог бы воспринять в качестве комплимента.

— Здесь, — продолжал он, встав и опираясь о мою руку, по мере того как мы расхаживали вокруг покоя, — здесь живопись от греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до нашего времени. Как видите, многое выбрано без малейшего внимания к мнениям Добродетели. Но все достойно украшать комнату, подобную этой. Здесь — некоторые шедевры великих художников, оставшихся неизвестными; здесь же — неоконченные эскизы работы мастеров, прославленных в свое время, даже имена которых, по прозорливости академий, были предоставлены безмолвию и мне. Что вы думаете, — спросил он, резко повернувшись ко мне, — что вы думаете об этой Мадонне *della Pietà*?¹

— Это работа самого Гвидо! — воскликнул я со всем энтузиазмом, мне присущим, ибо я пристально рассматривал ее все затмевающую прелесть. —

¹ Скорбящая (*um.*).

Это работа самого Гвидо! — как могли вы ее добыть? Несомненно, для живописи она то же, что Венера для скульптуры.

— А! — задумчиво произнес он. — Венера? — прекрасная Венера? — Венера Медицейская? — с крошечной головкой и позолоченными волосами? Часть левой руки (здесь голос его понизился так, что был слышен с трудом) и вся правая суть реставрации, и в кокетство этой правой руки вложена, по моему мнению, аффектация в самом чистом виде. Что до меня, я предпочитаю Венеру Кановы! Аполлон тоже копия — тут не может быть сомнений, — и какой же я слепой глупец, что не в силах увидеть хваленную одухотворенность Аполлона! Я не могу — пожалейте меня! — я не могу не предпочесть Антиноя. Разве не Сократ сказал, что ваятель находит свою статую в глыбе мрамора? Тогда Микеланджело был отнюдь не оригинален в своем двустишии:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto
Che un marmo solo in se non circunscriva¹.

Было или должно было быть отмечено, что мы всегда чувствуем в манерах истинного джентльмена отличие от поведения черни, хотя и не могли бы вдруг точно определить, в чем это отличие состоит. В полной мере применяя это замечание к внешнему поведению моего знакомца, я чувствовал, что в тот богатый событиями рассвет оно еще более приложимо к его душевному складу и характеру. И я не могу лучше определить эту его духовную особен-

¹ И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Тает в избытке. *Перевод А. М. Эфроса.*

ность, ставящую его в стороне от всех других людей, чем назвав ее *привычкой* к напряженному и непрерывному мышлению, определяющей его самые три-виальные действия — вторгающейся даже в его шутки — и вплетающейся даже в самые вспышки его веселости, — подобно змеям, что выползают, извиваясь, из глаз смеющихся масок на карнизах персепольских храмов.

И все же я не мог не заметить, что сквозь его слова о пустяках, изрекаемые то торжественно, то легкомысленно, постоянно прорывается некий трепет — *дрожь*, пронизывающая его движения и речи, — непокойная взволнованность, казавшаяся мне необъяснимой, а порой и внушавшая тревогу. Часто он останавливался на середине фразы, явно забывая ее начало, и, казалось, прислушивался с глубочайшим вниманием, то ли ожидая чьего-то прихода, то ли вслушиваясь в звуки, должно быть существовавшие лишь в его воображении.

Во время одного из этих периодов задумчивости или отвлечения от всего, переворачивая страницу «Орфея», прекрасной трагедии поэта и ученого Поппициано (первой итальянской трагедии), которая лежала рядом со мною на оттоманке, я обнаружил пассаж, подчеркнутый карандашом. Это был пассаж, находящийся недалеко от конца третьего акта, проникнутый волнующим напряжением, — пассаж, который даже человек, запятнанный пороком, не может прочитать, не испытывая озноб, рожденный неведомым ранее чувством, а женщина — без вздоха. Вся страница была залита свежими слезами; а на противоположном, чистом листе находились следующие строки, написанные по-английски — и почер-

ком, столь несхожим с причудливым почерком моего знакомца, что лишь с известным трудом я признал его руку:

В твоем я видел взоре,
К чему летел мечтой —
Зеленый остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах —
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой нежный сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — но над былим
Мой дух простерт — без чувств — без слов —
Подавлен — недвижим!

Вновь не зажжется надо мной
Любви моей звезда.
«Нет, никогда — нет, никогда»
(Так дюнам говорит прибой)
Не полетит орел больной
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!

Мне сны дарят отраду,
Мечта меня влечет
К пленильному взгляду
В эфирный хоровод,
Где вечно льет прохладу
Плеск итальянских вод.

И я живу, тот час кляня,
Когда прибой бурливый
Тебя отторгнул от меня
Для ласки нечестивой —
Из края, где, главу клоня,
Дрожат и плачут ивы!

То, что эти строки написаны были по-английски — на языке, по моим предположениям, автору неизвестном, — не вызвало у меня удивления. Я слишком хорошо знал о многообразии его познаний и о чрезвычайной радости, которую он испытывал, скрывая их, чтобы изумляться какому-либо открытию в этом роде; но место и дата их написания, признаться, немало изумили меня. Под стихами вначале стояло слово «Лондон», впоследствии тщательно зачеркнутое, но не настолько, чтобы не поддаться прочтению пристальным взором. Я говорю, что это немало изумило меня, ибо я прекрасно помнил, что в одну из прежних бесед с моим знакомцем я особенно спрашивал у него, не встречал ли он когда-либо в Лондоне маркизу ди Ментони (которая несколько лет, предшествующих ее браку, жила в этом городе), и из его ответа, если только я не ошибся, я понял, будто он никогда не посещал столицу Великобритании. Заодно стоит здесь упомянуть, что я слыхал не раз (не оказывая, разумеется, доверия сообщению, сопряженному со столь большим неправдоподобием), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по образованию был *англичанин*.

— Есть одна картина, — сказал он, не замечая, что я читал стихотворение, — есть одна картина, которую вы не видели. — И, отдернув какой-то полог, он открыл написанный во весь рост портрет маркизы Афродиты.

Искусство человека не могло бы совершить большего для изображения ее сверхчеловеческой красоты. Та же эфирная фигура, что прошлою ночью

стояла передо мною на ступенях Дворца дожей, ста-ла передо мною вновь. Но в выражении ее черт, сия-ющих улыбками, еще таился (непостижимая анома-лия!) мерцающий отблеск печали, всегда неразлуч-ной с совершенством прекрасного. Ее правая рука покоилась на груди, а левою она указывала вниз, на вазу, причудливую по очертаниям. Маленькая нож-ка, достойная феи, едва касалась земли; и, еле раз-личимые в сиянии, что словно бы обволакивало и ограждало ее красоту, как некую святыню, парили прозрачные, нежные крылья. Я перевел взор нафи-гуру моего знакомца, и энергичные строки из Чеп-менова «Бюсси д'Амбуа» непроизвольно затрепета-ли у меня на губах:

Он стоит.
Как изваянье римское! И будет
Стоять, покуда смерть его во мрамор
Не обратит!

— Ну, — наконец сказал он, поворачиваясь к мас-сивному серебряному столу, богато украшенному эмалью, где стояли несколько фантастически рас-писаных кубков и две большие этрусские вазы той же необычайной формы, что и ваза на переднем пла-не портрета, и наполненные, как я предположил, иоганнисбергером. — Ну, — сказал он отрывисто, — давайте выпьем! Еще рано — но давайте выпьем. *В самом деле*, еще рано, — продолжал он задумчиво в то время, как херувим, опустив тяжелый золотой молот, наполнил покой звоном, возвещающим пер-вый послерассветный час, — *в самом деле*, еще ра-но — но не все ли равно? Давайте выпьем! Совер-шим возлияние величавому солнцу, кое эти пестрые

светильники и курильницы тщатся затмить! — И, заставив меня выпить стакан за его здоровье, он залпом осушил, один за другим, несколько кубков вина.

— Мечтать, — продолжал он, вновь принимая тон отрывистой беседы и поднося одну из великолепных ваз к ярко пылающей курильнице, — мечтать было делом моей жизни. И с этой целью я воздвиг себе, как видите, чертог мечтаний. Могли я воздвигнуть лучший в самом сердце Венеции? Правда, вы замечаете вокруг себя смешение архитектурных стилей. Чистота Ионии оскорблена здесь допотопными орнаментами, а египетские сфинксы возлежат на парчовых коврах. И все же конечный эффект покажется несообразным только робкому. Единство места и в особенности времени — пугала, которые устрашают человечество, препятствуя его созерцанию возвышенного. Я сам некогда был этому сторонник, но душа моя пресытилась подобными выспренними глупостями. Все, что ныне окружает меня, куда более соответствует моим стремлениям. Словно эти курильницы, украшенные арабесками, дух мой извивается в пламени, и это бредовое окружение готовит меня к безумнейшим зрелищам той страны сбывшихся мечтаний, куда я теперь поспешно отываю. — Он внезапно прервал свои речи, опустил голову на грудь и, казалось, прислушивался к звуку, мне неслышному. Наконец он выпрямился во весь рост, устремил взор ввысь и выкрикнул строчки епископа Чичестерского:

О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой.

В следующее мгновение, уступая силе вина, он упал и вытянулся на оттоманке.

Тут на лестнице раздались быстрые шаги, а за ними последовал громкий стук в двери. Я поспешил предотвратить новый стук, когда в комнату ворвался паж из дома Ментони и голосом, прерывающимся от нахлынувших чувств, пролепетал бессвязные слова: «Моя госпожа! моя госпожа! Отравлена! отравлена! О, прекрасная Афродита!»

Смятенный, я бросился к оттоманке и попытался привести спящего в чувство, дабы он узнал потрясающую весть. Но его конечности окоченели — его уста посинели — его недавно сверкавшие глаза были заведены *в смерти*. Я отшатнулся к столу — рука моя опустилась на почернелый, покрытый трещинами кубок — и внезапное постижение всей ужасной правды вспышкой молнии озарило мне душу.

БЕРЕНИКА

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae
visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas¹.

Ибн Зайят

Несчастье многогранно. Многолико земное горе. Охватывая широкий горизонт подобно радуге, оно несет в себе столько же красок, как и эта небесная арка, — и столь же отличных друг от друга, и так же сливающихся воедино. Охватывая широкий горизонт подобно радуге! Почему в красоте усмотрел я воплощение безобразия, в залоге безмятежности — улыбку скорби? Но как в этике зло является следствием добра, так в жизни из радости рождается скорбь: воспоминания о прошлом блаженстве становятся нынешним страданием, и муками обрачиваются несбыившиеся восторги.

Я был крещен Эгеем, родовое же свое имя я тут не упомяну. И все же в стране не найдется замка более древнего, чем угрюмые серые башни, унаследованные мною от длинной вереницы предков. Наш род слыл родом духовидцев, и многие причудливые особенности — в самой архитектуре дома, во фресках парадного зала, в гобеленах спален, в каменной резьбе, украшающей столбы оружейной палаты,

¹ Друзья говорили мне, что горе мое будет несколько облегчено, если я навещу могилу моей подруги (*лат.*).

и более всего в старинных портретах картинной галереи, в плане библиотеки и, наконец, в чрезвычайно своеобразном подборе книг этой библиотеки — с достаточной убедительностью оправдывают эту славу.

Самые ранние воспоминания моей жизни тесно связаны с этой комнатой и с этими фолиантами — о которых я в дальнейшем говорить не буду. Там умерла моя мать. Там родился я. Но к чему утверждать, будто я не жил прежде, будто душа не имеет предыдущего существования! Вы это отрицаете? Я не стану с вами спорить. Сам я в этом убежден, других же убеждать не хочу. Однако ведь есть воспоминание о воздушных образах, о духовных, исполненных бесконечного смысла глазах, о звуках, гармоничных и все-таки печальных; воспоминание, которого нельзя прогнать, воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неопределенное, зыбкое — подобное тени еще и в том, что от него нельзя избавиться, пока не затмится солнечный свет моего рассудка.

В этой комнате я родился. И когда от долгой ночи, которая казалась, но не была отсутствием существования, я пробудился в поистине волшебной стране, в чертогах воображения, в необъятных владениях монастырской мысли и эрудиции — удивительно ли, что я озирался по сторонам изумленным и жадным взором, что я праздно провел мое детство за книгами и растратил юность на размышления. Но удивительно другое: прошли годы, и расцвет молодости застал меня в отчем доме, и поразительно то, какими застойными стали источники моей жизни; поразительно то полное смешение,

которое произошло в строе самых обычных моих мыслей. Материальный мир вокруг меня представлялся мне совокупностью видений, и только видений, тогда как прихотливые образы страны воображения сделались не просто пищей моего повседневного существования, но самим этим существованием, исчерпывая и замыкая его.

* * *

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в стенах дома моих предков. Но как по-разному росли мы! Я — хилый и угрюмый, она — грациозная, подвижная, полная радости и энергии; она гуляла по холмам и долинам, я склонялся над книгами в монастырском уединении библиотеки; я — углубленный в себя, телом и душой отдающийся самым напряженным и мучительным размышлениям, она — беспечно порхающая по жизни без мысли о тенях на ее тропе, о череде часов, безвозвратно уносящихся прочь на вороновых крыльях. Береника! Я повторяю ее имя — Береника! — и этот звук поднимает из серых руин памяти тысячи смятенных воспоминаний. И ее образ стоит сейчас перед моими глазами таким же, как в дни ее беззаботной и радостной юности. О великолепная и все же неизъяснимая красота! О сильфика садов Арнгейма! О наяда его источников! А затем... а затем тайна, и ужас, и повесть, которую не должно рассказывать. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч пустыни, и у меня на глазах все в ней переменилось: разум, привычки, характер и даже — неуловимо и ужасно — самая ее личность. Увы! Губитель явился и исчез, а жертва... что ста-

лось с ней? Я больше не узнавал ее — не узнавал в ней Береники!

Среди многочисленной свиты недугов, порожденных самым первым и роковым, который повлек за собой столь жуткое преображение нравственного и телесного облика моей кузины, можно упомянуть наиболее тягостный и упорный — разновидность эпилепсии, нередко завершающуюся оцепенением, подобным смерти, из которого она чаще всего восставала с неожиданной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь — мне велели называть ее только так и не иначе, — моя собственная болезнь овладевала мною все больше и обрела уже характер мономании, неизвестной прежде и необычайной; с каждым часом, с каждой минутой она набирала силу и в конце концов обрела надо мною полную и непостижимую власть. Эта мономания, раз уж я должен называть ее так, представляла собой болезненное возбуждение тех свойств сознания, которые метафизическая наука относит к сфере внимания. Весьма вероятно, что я не буду понят, но, боюсь, нет способа дать обычному читателю хотя бы слабое представление о той нервной интенсивности интереса, с каким я сосредоточивал всю силу моих мыслительных способностей (если не прибегать к специальным обозначениям) на самых тривиальных предметах.

Я мог часами раздумывать над какой-нибудь прихотливой виньеткой на полях книги или над особенностями ее шрифта, мог почти весь летний день пристально рассматривать странную тень на gobelenе или на полу, мог всю ночь напролет пребывать созерцанию неколеблющегося язычка пла-

мени в лампе или мерцающих углей в камине, мог целые дни грезить над ароматным цветком, мог однотонно твердить самое простое слово, пока от непрерывного повторения звук его не переставал сообщать мозгу какой-либо смысл, мог полностью утрачивать ощущение физического бытия, долго и упрямо сохраняя неподвижность. Таковы были некоторые из наиболее простых и неопасных чуда-честв, вызванных определенным состоянием рас-судка, — хотя их отнюдь нельзя назвать единствен-ными в своем роде, они тем не менее не поддаются ни анализу, ни объяснению.

И все же не поймите меня неправильно. Это глубокое неоправданное и болезненное внимание, возбуждавшееся предметами, по своей природе самыми заурядными, не следует путать со склонностью к задумчивости, которая свойственна всем людям, и особенно тем, кто наделен пылкой фантазией. Его нельзя даже считать, как могло бы показаться на первый взгляд, преувеличенной или доведенной до крайности вышеуказанной склонностью — нет, они различны и по самой своей сути не схожи. В первом случае мечтательная или пытливая натура, заинтересовавшись предметом, как правило далеко не тривиальным, незаметно для себя увлекается идеями и заключениями, им подсказанными, и в конце концов, очнувшись от этих грез наяву, нередко упоительно прекрасных, обнаруживает, что *incitamentum* — побудительный толчок к размышлению, их первопричина уже совершенно забыта. Что же касается меня, то таким толчком всегда и неизменно служили предметы самые тривиальные, хотя мое болезненное восприятие и наделяло их искаженной

СОДЕРЖАНИЕ

Свидание. <i>Перевод В. Рогова</i>	5
Береника. <i>Перевод И. Гуровой</i>	22
Страницы из жизни знаменитости. <i>Перевод В. Рогова</i>	35
Тень. Парабола. <i>Перевод В. Рогова</i>	43
Мистификация. <i>Перевод В. Рогова</i>	47
Тишина. Притча. <i>Перевод В. Рогова</i>	59
Как писать рассказ для «Блэквуда». <i>Перевод З. Александровой</i>	63
Трагическое положение. <i>Перевод З. Александровой</i>	78
Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней бугабуско-кикапуской кампании <i>Перевод Н. Демуровой</i>	91
Падение дома Ашеров. <i>Перевод. Норы Галь</i>	106
Разговор Эйрос и Хармионы. <i>Перевод В. Рогова</i>	132
Человек толпы. <i>Перевод В. Рогова</i>	140
Беседа Моноса и Уны. <i>Перевод В. Рогова</i>	153
Не закладывай черту своей головы. Рассказ с моралью. <i>Перевод Н. Демуровой</i>	166
Элеонора. <i>Перевод Н. Демуровой</i>	180
Овальный портрет. <i>Перевод В. Рогова</i>	188
Маска Красной Смерти. <i>Перевод Р. Померанцевой</i>	193
Очки. <i>Перевод З. Александровой</i>	202

Повесть Крутых гор. <i>Перевод И. Гуровой</i>	235
Сила слов. <i>Перевод В. Рогова</i>	251
Бес Противоречия. <i>Перевод В. Рогова</i>	257
Система доктора Смоля и профессора Перро. <i>Перевод С. Маркиша</i>	267
Правда о том, что случилось с мсье Вальдемаром. <i>Перевод З. Александровой</i>	296
Сфинкс. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	309

По Э. А.

П 41 Падение дома Ашеров : рассказы / Эдгар Аллан По ; пер. с англ. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 320 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-06797-4

Эдгар Аллан По — классик американской литературы, поэт, прозаик, автор таких шедевров, как «Золотой Жук» и «Убийства на улице Морг». Его перу принадлежит более 70 новелл: психологические, готические, романтические, детективные, сатирические и пародийные. «Падение дома Ашеров», «Маска Красной Смерти», «Береника», «Человек толпы» — эти и многие другие замечательные произведения, представленные вниманию читателей в настоящем издании, в полной мере отражают разные грани творчества По, непревзойденного создателя гротескных фантасмагорий, безумных кошмаров, безупречных и изящных логических построений.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ЭДГАР АЛЛАН ПО
ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич

Компьютерная верстка Ольги Варламовой
Корректоры Елена Терскова, Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 09.10.2018.

Формат издания 75 × 100 $\frac{1}{32}$. Печать офсетная.

Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 14,1.

Заказ № .

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Y-AKB-14777-87-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В МОСКВЕ

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,
факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;
info@azbooka-m.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,
факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В КИЕВЕ

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества

размещена по адресу:
www.azbooka.ru/new_authors/